

ТВОРЧЕСТВО В.И. БЕЛОВА В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ

Алексей Варламов
г. Москва

ДВА ВАСИЛИЯ: ШУКШИН И БЕЛОВ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДРУЖБЫ

1.

Они познакомились в первой половине 60-х годов в общежитии Литературного института, где Шукшин иногда ночевал и позднее писал Белову с ностальгическими интонациями: «...вспомнились те, теперь уже далекие, странные, не то веселые, не то дурные дни в нашем общежитии. Какие-то они оказались дорогие мне. Я понимаю, тебе там к последнему курсу осточертело все, а я узнал неведомых мне, хороших людей».

Белов стал самым дорогим и близким из них. Это у него Шукшин скрывался от Лидии Александровой («библиотекарши», как звал ее Белов), когда та написала на Василия Макаровича жалобы в партком, это он помогал доставать ему больничный лист, когда, подзагуляв, Шукшин несколько дней кряду отсутствовал на съемках фильма «Живет такой парень» и его разыскивали оператор Валерий Гинзбург и актер Леонид Куравлёв, а Белов скрывал от них местонахождения Шукшина, это с ним Шукшин плясал под гармонь на Пасху 1964 года, попадал в милицию, скитался по важным московским домам, с ним пил водку, и это он признавался Шукшину в братской вере, надежде и любви: «Макарович, обнимаю тебя и очень по тебе скучаю. Как-то ты живешь? У тебя хоть и нету привычки писать письма хоть изредка, а я вот пишу тебе. Потому что люблю тебя очень, а еще больше верю в твою звезду. Мы мужики, при встречах все у нас топорно выходит, напьемся и не потолкуем как бы надо». А тем не менее друг с другом толковали — о «крестьянстве, о диссидентах, о политике и евреях». Это он, Василий Белов, жаловался Шукшину на фильм Алексея Салтыкова «Председатель», снятый по сценарию Юрия Нагибина: «У меня нет слов описать боль и горечь свою. Ощущение такое, как будто твоей матери дали пощечину, а ты бессилен и не можешь ничего сделать. Мерзко, Вася, горько. До каких пор будут плевать в наши души?» Это к нему в Тимонику ездил глотнуть свежего воздуха после Москвы Шукшин и восторженно писал после этой поездки: «Ты — добрый. Как мне понравилось твое ВОЛОГОДСКОЕ превосходство в деревне. И как же хорошо, что эта де-

ревня случилась у меня! У меня под черепной коробкой поднялось атмосферное давление. А ведь ты СОЗНАТЕЛЬНО терял время, я знаю. И все-таки: помнишь ту ночь с туманом? Вася, все-таки это был не спутник, слишком уж кувырчался. А внизу светилось только одно окно – в тумане, мгле. Меня тогда подмывало сказать: “Вот там родился русский писатель”. Очень совпадает с моим представлением, – где рождаются писатели». Это в памяти его бесхитростной жалостливой матери Анфисы Ивановны Беловой остался Шукшин: «Мужчина, конечно, хороший. Но уж больно худ. Тонкий – что жердь... Сидит на лавке, молчит, молчит. И отчего в нем эта худоба? На работе ли высох? Или его тогда болезнь съела? Не знаете? Да и где теперь знать... Родом он из Сибири. А как я замечала, нравилось ему здесь: места наши, вода. Пироги еще мои хвалил...» И точно так же остался в памяти Марии Сергеевны Куксиной и сам Василий Иванович Белов, которого мама Шукшина увидела только после смерти сына, но знала о нем давно: «...тоже Васей зовут, а фамилия Белов. Большой писатель, мне Вася сказывал, и человек добрый, мой Вася шибко его любил».

«Белов Вас. Ив. Это который понимает тебя, может быть, чуточку больше, чем кто-либо другой. Я очень по тебе скучаю, это не сентиментальность, ей-богу, скучаю по большому счету, – писал Белов Шукшину в первом из сохранившихся писем в сентябре 1964 года. – Знаешь, ты был прав лишь отчасти, когда говорил о том, что нельзя уезжать из Москвы. Я сейчас освободился от суеты, от пьянок, тружусь здорово. В Москве столько энергии уходило впустую... Но есть тут “но”. Хуже здесь с грошиками. Если в Москве было проще в этом смысле, то тут все иначе, кусок хлеба стоит частицы совести...»

И дальше, поздравив Шукшина с его первой кинематографической удачей (это как раз и был фильм «Живет такой парень»), увещевал: «Бросай киношку, ты же писатель... Береги силы свои, ради бога. Не слушай никого, только пиши, пиши, пиши. Я не менторствую. Я глубоко убежден в том, что первооснова всего – литература. А жизнь нас не ждет, идет в одну сторону...

Как дела с квартирой? С бабами? Я знаю, что ты великий труженик, но, как и все русские, ты незащищен в смысле случайностей. Не надо случайностей, хватит нам гибнуть от них

Напиши письмо хоть. И не в чужих палестинах.

А за сим еще раз тебе – сил, мужества и упрямства.

И удачи».

И в другом письме – как заклинанье:

«Давай, ради Христа, трудись, спасенье наше только в работе. Да и ничего нет надежнее, радостнее работы...Пиши ради бога».

Тут все очень точно схвачено, высказано, названо, но главное — передано щемящее, тревожное предчувствие беды, угрожавшее русскому человеку в русской столице, в русской жизни, есенинское (и, кстати, неслучайно именно портрет Есенина висел у Шукшина в его первой московской квартире в Свиблове) чувство иностранца в своей стране — нет сомнения, и Шукшин, и Белов сполна его испытали. «Черт возьми! — в родной стране, как на чужбине» — повторял Шукшин вслед за Есениным в своих рабочих записях. Их с Беловым судьбы, их подъем в гору, их самоутверждение строилось на преодолении сопротивления среды, не желавшей принимать чужаков. Именно через них, крестьянских сынов с общей долей — безотцовщиной (у одного отец расстрелян, у другого погиб на войне), тяжелым мужицким трудом, незаконченными вовремя школами, колхозной закрепощенностью и жадной вырваться из подневольного положения (но здесь Шукшину повезло больше чем Белову: автобиографический рассказ Василия Ивановича о деревенском парне, который сбивая в кровь ноги, проходит тридцать километров за паспортом, чтобы получить отказ — один из самых горьких документов советской эпохи, которую иным сегодня так охота прославлять) и просветиться (даже книги оба воровали — один из школьного шкафа, другой — из покинутых домов, а потом и не только книги приходилось красть, чтобы выжить), работой на стройках, вынужденным членством в КПСС — и все это для того, чтобы окрепнуть и вступить за свой родной, покинутый ими бесправный мир, — именно через них прокладывало себе путь корневое русское русло.

«Крестьянская наша боль передалась нам по наследству», — писал Василий Иванович, а еще один «деревенщик» Валентин Распутин позднее скажет: «Феномен Василия Шукшина в том и заключался, что его не должно было быть, как, впрочем, не должно было быть всей почвеннической литературы, никто ему, как Ивану-дураку из сказки «До третьих петухов», не давал справки на деятельное существование. Не должно, но явился, обманув сапогами и простецким видом, за которым обнаружился вскоре такой талант, что нельзя его было понимать иначе как не личное приобретение, а дар народный, безошибочный вклад в избранника, способного распорядиться им как надо. Дар этот и дал возможность Шукшину ощутить, как свою собственную, большую душу народа, выпавшую из вековечного гнезда и в страдании ищущую торопливо, как в него, в это гнездо, вернуться».

Белов, которому все это не могло не быть близко, тем не менее, в одном Валентину Григорьевичу возразил: «...появление такого художника вовсе не было для русской культуры какой-то особой неожиданностью или феноменом. Такое появление всегда бывает закономерным...» И никакого

противоречия между нашими классиками нет. Шукшин – это закономерная неожиданность, это тот самый случай, когда можно безо всякого пафоса утверждать: вот человек, которого избрала, прислала, снарядила Россия и дала поручение быть своим предстоятелем, снабдила не только могучим талантом, но и волевым характером, словно наперед зная, что по отношению к этому, действительно непонятно откуда, из-под каких глыб взявшемуся, казалось бы, навсегда придушенному большевиками русскому воину будут враждебны и подозрительны и либеральная интеллигенция, и советский официоз. А он все равно прорастал, пробивался и заявлял о себе, нес боль своего униженного, придавленного, но еще до конца не уничтоженного крестьянского сословия и опирался на его былую мощь, его язык, песни, смех, плач, на чувство родины, дома, родной природы. (Вот почему, когда Шукшина будут упрекать за лубочные, якобы, березки в «Калине красной», надо понимать, что значили для него эти березки, которые он когда-то вместе с матерью зимними ночами пацаном воровски рубил на склонах горы Пикет, чтобы не замерз их дом, а много лет спустя перед этими деревьями винулся.)

«Нам усиленно прививали всевозможные комплексы, – очень точно описал крестьянское мироощущение в эти годы Белов. – Враги ненавидели нашу волю к борьбе. Тот, кто стремился отстоять свои кровные права, кто стремился к цели, кто понимал свое положение и осознал важность своей работы, кто защищал собственное достоинство, был для этих “культурников” самым опасным. Таких им надо было давить или дурить, внушая комплекс неполноценности. “И чего им всем не хватает? – писал Шукшин. – Злятся, подсиживают друг дружку, вредят где только можно. Сколько бешенства, если ты чего-то добился, сходил, например, к начальству без их ведома. Перестанут даже здороваться...”»

Однако особенность творческого поведения Василия Макаровича Шукшина заключалась в том, что с обеими могучими советскими силами, попиравшими растущее национальное самосознание, – партийной и либеральной – он в той или иной степени вступал во взаимодействие, умел их собою заинтересовать, заинтриговать, обаять, разоружить, растрогать, под себя приспособить и оседлать, как оседлал кузнец Вакула черта (отсюда и фраза про «сходил к начальству», отсюда и либералы: Марлен Хуциев и Белла Ахмадулина), и в этом была, если угодно, его личная, хотя и тщательно скрываемая, зашифрованная, нацеленная на прижизненную победу стратегия.

Но задирист он был сверх меры даже по отношению к своим. Одинокой так и остался в самой сокровенной глубине своего сибулонского существа. «Один борюсь. В этом есть наслаждение. Стану помирать – объяс-

ню», — вот одна из его рабочих записей, а среди воспоминаний Василия Ивановича встречается такое, похожее на эпизод из неснятого кинофильма: «Мы ехали однажды по столице ночью в такси, причем Шукшин был чуть “под мухой”. Вероятно, он на ходу соображал, где бы ему ночевать. Тогдашняя Москва среди глубокой ночи становилась совсем пустынной. Шукшин остановил машину напротив Савеловского и вылез. Шофера не отпускал. Я не мог оставить своего нового друга одного среди ночи и тоже вышел из машины. Друг же неожиданно принял боксерскую стойку. Начал он задираться и провоцировать меня на драку: “А ну, давай, давай, отбивайся!” И начал прискакивать вокруг меня. К боксу я был всю жизнь равнодушен и, хотя было обидно, отбиваться не стал. Шофер с любопытством глядел на нас из работающей машины. Шукшин сделал слабый непрофессиональный выпад, я оттолкнул его руку. “А, а, трусишь!” Я в сердцах уселся в кабину и хлопнул дверцей. Он сделал то же самое. Мы долго молчали. Таксист терпеливо ждал. Шукшин, смеясь, обозвал меня хлюпиком, упрекнул в боязни милиции. Я всерьез обиделся и надолго заглох. Шукшин почувствовал это, перестал хамить, начал просить прощения. Я промолчал. Не помню, куда мы поехали, кажется, к его благотельнице Ольге Михайловне Румянцевой. Эта благородная женщина на свой страх и риск прописала Шукшина на своей жилплощади. Обиженный, я не стал заходить, решил уехать на чем угодно или уйти. Шукшин щедро расплатился с шофером и приказал ему свезти меня на улицу Добролюбова. Но я в тот раз уже закусил удила...»

2.

Однако история на этом не закончилась, а дружба, несмотря ни на что, продолжалась. В книге воспоминаний Василия Белова описывается их поездка с Шукшиным в Тимонику (Белов относит ее к 1964 году, но это явная ошибка памяти — поездка состоялась позднее) и сокровенный разговор, возможный лишь там, где не было чужих ушей: «Он говорил о народных страданиях, о лагерях. Мы снова уперлись в Андропова... Макарыч поведал мне об одном своем замысле: “Вот бы что снять!” Он имел в виду массовое восстание заключенных. Зeki разоружили лагерную охрану. Эта история произошла где-то близко к Чукотке, потому что лагерь двинулся к Берингову проливу, чтобы перейти на Аляску. Макарыч оживился, перестал оглядываться: кто мог, кроме дятла, нас услышать? Конечно, никто. Сколько народу шло на Аляску, и сколько верст им удалось пройти по летней тайге? Войск для преследования у начальства не было, дорог в тайге тоже. Но Берия (или Менжинский) послал в таежное небо вертолеты... Геликоптеры, как их тогда называли. С малой высоты почти всех беглецов

расстреляли. Макарыч задыхался не от усталости, а от гнева. Расстрелянные мужики представились и мне. Поверженные зэки, так четко обрисованные в прозе Шаламова, были еще мне неизвестны. Читал я на эту тему всего лишь одного Дьякова. Шукшин поведал мне свою мечту снять фильм о восставшем лагере. Он, сибиряк, в подробностях видел смертный таежный путь, он видел в этом пути родного отца Макара, крестьянина из деревни Сrostки...»

Этот разговор надо представить: середина 60-х, то же время, когда в Эстонии на укомном хуторе Александр Солженицын пишет «Архипелаг ГУЛАГ», а в нескольких сотнях километров от него идут по северному вологодскому лесу от поселка Сорок второй (названного так по имени лесного квадрата) к деревне Тимонихе двое русских мужиков, двое крестьянских сынов, два тезки и, задыхаясь от гнева, говорят о том же самом, о чем писал Солженицын – о лагерях, тюрьмах, о смертном пути своего народа. Снял фильм у Шукшина не получилось, но – Бог целует намерения...

Он собрался снимать пока другое кино.

«Прочитав сценарий “Степана Разина”, я сунулся с подсказками, мое понимание Разина отличалось от шукшинского, – вспоминал Белов. – Разин для меня был не только вождем крестьянского восстания, но еще и разбойником, разрушителем государства. Разин с Пугачёвым и сегодня олицетворяют для меня центробежные силы, враждебные для русского государства. Советовал я Макарычу вставать иногда и на сторону Алексея Михайловича.

“Как же ты так... – нежно возмущался Макарыч. – Это по-другому немножко. Не зря на Руси испокон пели о разбойниках! Ты, выходит, на чужой стороне, не крестьянской...”»

Так вспоминал Василий Белов, и это очень точный и очень принципиальный диалог, многое в Шукшине, а также в Белове и в их общественной позиции, в чем-то схожей, в чем-то нет, объясняющий. Согласиться с тем, что выразителем русского национального характера со всеми взлетами и падениями, пропастями и пиками был именно Степан Разин, Белов не мог, хотя и по своим причинам.

«Горячился и я, напоминая, что наделали на Руси Пугачёв и Болотников. Вспоминали мы и Булавина, переходили от него напрямую к Антонову и Тухачевскому. Но и ссылка на Троцкого с Тухачевским не помогала. Разин всецело владел Макарычем. Я предложил добавить в сценарий одну финальную сцену: свидание Степана перед казнью с царем. Чтобы в этой сцене Алексей Михайлович встал с трона и сказал: “Вот садись на него и правь! Погляжу, что у тебя получится. Посчитаем, сколько у тебя-то слетит невинных головушек...”»

Но Шукшин гнул свою линию: «Макарыч задумывался, слышалось характерное шукшинское покашливание. Он прикидывал, годится ли фильму такая сцена. Затем в тихой ярости, однако с каким-то странным сочувствием к Разину, говорил о предательстве Матвея и мужицкого войска. Ведь оставленные Разиным мужики были изрублены царскими палашами. Он, Макарыч, был иногда близок к моему пониманию исторических событий. Но он самозабвенно любил образ Степана Разина и не мог ему изменить. В этом обстоятельстве тоже ощущалось нечто трагическое, как в народной песне о персидской княжне...»

Все замечательно в этих мемуарах, все очень дельно, точно, особенно это совершенно непонятное Белову сочувствие Шукшина к Разину после того, как тот предал мужиков во главе с Матвеем Ивановым (роль Матвея, кстати, Шукшин как раз Белову и предполагал дать, о чем написал Василий Иванович в мемуарах: «...предложил даже как-то сниматься в роли Матвея – сподвижника Разина. Я расхохотался, а он недоумевал, почему это я не хочу сниматься? У него уже имелся опыт общения с писателями, которые с удовольствием откликались на его режиссерские просьбы. Началось еще с Бэлочки Ахмадулиной. Некоторые дамы напрашивались. Покойный Глеб Горышин тоже однажды причастился к этому виду деятельности. Конечно, я вытерпел бы оплеуху, которую по сценарию должен был влить Стенька своему крестьянскому сподвижнику. Но дело не в оплеухе...») во время осады Симбирска и бросил их погибать под пулями стрельцов – причем Шукшин не только не стал этот «неприятный» эпизод из биографии своего героя заглаживать, а напротив – всячески его подчеркивал, заострял, акцентировал – он, как сказал бы по этому поводу Лев Аннинский, любил виноватого, сочувствовал неправому, ему был дорог именно такой не идеальный, оступившийся, споткнувшийся, скомпрометированный Степан. Он из любви к нему не мог о нем солгать. Парадокс заключается в том, что, любя Разина, Шукшин изображал его чудовищем, он не просто не лакировал темные, жестокие черты характера своего героя, но буквально напирал на них. Это был его принцип, сформулированный позднее в статье «Нравственность есть правда»: «если бы мои “мужики” не были бы грубыми, они не были бы нежными».

Он хотел быть максимально точным и правдивым и «после всех наших исторических фильмов <...> оставить сумятицу, сохранить большую непоследовательность». Он был готов не просто «забыть» про Разина как про национального героя, но в соответствии с открывшимися ему фактами изобразить его человеком, скомпрометировавшим себя жестокостью, изменой, предательством, но именно такой, правдивый, непридуманный Разин был ему дороже всего, ибо сквозь человеческие недостатки мерцало, просвечи-

вало, било в глаза то главное, что он в своем персонаже видел: безудержную, неистовую до истерики любовь даже не к свободе, но – к воле. (И очень неслучайно, что в романе «Любавины» сын генерала, дворянин Закревский говорит: «Я хочу свободу дать русскому характеру», а Разин пришел дать – волю.)

Но дело не только в этом. Всякий, кто прочтет сценарий фильма, обратит внимание на то, что упомянутая Беловым сцена разговора Степана Разина с царем Алексеем Михайловичем в тексте присутствует, только акценты в ней расставлены совсем иначе, чем желал бы автор «Лада», и логично предположить, что Шукшин по просьбе друга ее привнес, да только не так, как другу хотелось бы.

Вот этот эпизод:

« – А – садись! – воскликнул вдруг Алексей Михайлович. – Ну! Что ж, так и не попробуешь! (?) Садись. Вот тебе стула моя. А я буду холопом у тебя – как ты хотел. Давай-ка сыграем комедию... Как у меня немцы играют.

Степан сел в удобное кресло.

– У меня казаки тоже игравали... Только связанные-то цари бывают ли? Или холопы такие трусливые?

– Не гневись, батюшка-царь, посиди уж так, – продолжал несколько суетливо играть Алексей Михайлович. – Ну, что ж ты, царь-государь, перво-наперво сделал бы в своей державе. (?)

– Наклонись-ка, я негромко скажу. А то изменников кругом...

Царь наклонился к Степану. Тот что-то сказал ему. Алексей Михайлович выпрямился, отступил несколько и начал лупить Степана посохом по плечам и по голове. Разин склонил голову и сносил удары.

– Когда надоест – скажи, – попросил он.

Царь перестал драться.

– Вот, царь, – назидательно подытожил Степан, – ты и холопом-то минутой был, а уж взбунтовался. Как же всю жизнь-то так жить?»

И еще более жестко, хулигански, ненавистно повторен этот мотив в самом финале, когда царь и казак навсегда расстаются перед казнью:

« – А ишшо, царь, я б сделал перво-наперво в своей державе: случил бы тебя с моим жеребцом...»

А в одной из редакций романа было того грубее: «Разина повели. В дверях он остановился, повернулся к царю:

– Что, царь... царица-то все неспокойна? Скажи ей: был у меня другой патриарх... Вот уж патриарх так патриарх! Всем патриархам патриарх. Ведро воды... таскал по базару. Вели-ка найти – спасибо скажет царица, довольная бу...

Степана ударили по лицу».

Какая уж тут правда Алексея Михайловича...¹ Не было у Шукшина никакой «второй» правды, не было даже попытки встать на государеву, на государственную точку зрения, он на все глядел с мужицкой, и в этой жесткости, в этой непреклонности и была сила его и единственная правда. «До того это в одном человеке затягивалось в тугой узел и заставляет болеть сердце, что он становится излишне жестоким», — писал он о Разине, как о самом себе.

Помимо Белова интуитивно это впоследствии почувствовал еще один писатель христианской природы — Владимир Крупин. «Ведь как хорошо, что он не снял фильм о Степане Разине, этом нехристе, разбойнике. Эти виселицы в Астрахани, княжна в Волге, Казань в углях, нет, не надо! Даже и в сценарии как жестоко выписано убийство воевод. Тела их, пронзенные копьями, плывут и утопают. Очень киношно — копья все меньше и меньше видны, идут ко дну».

По мысли — это ведь то же самое, о чем писали рецензенты из ГСРК товарищи Юренев, Юткович, Блейман и Соколовская. Но любопытно и то, что Андрея Тарковского, и тоже за жестокость в «Андрее Рублёве», обвиняли, с одной стороны, советские партийные начальники, а с другой... Александр Солженицын. Так что тут действительно очень многое сплелось, связалось в узел, который и сегодня не распутать.

Впрочем, если говорить и о позиции Белова, представленной в его мемуарах, то тут есть один любопытный нюанс. Воспоминания воспоминаниями, они пишутся потом, на них откладывает отпечаток время, но сохранились беловские письма середины 60-х, и в них акценты расставлены иначе.

«Сарынь на кичку!

Вась, вот послал тебе один снимок. Дядька очень похож на моего Ивана Африкановича.

Штуку-то свою я доконал. Не знаю, чего вышло.

А тебе — дай Бог, сил и того, этого, когда холодит под лопаткой. Сделай ты Степана. По-нашему. Не Марксиста, а Степана.

¹ И поэтому когда писатель Захар Прилепин, рассуждая о шукшинском Разине, написал в одной из своих недавних статей о том, что «Разин <...> против царя не выступал — наоборот он, как и самозванец Пугачёв, как и Болотников ранее, хотел добраться к московскому Кремлю, ласть государю (или государыне, в случае Пугачёва) в ноги и испросить позволения перебить всех бояр-предателей и дворян-подонков», то с этим трудно согласиться. Разин у Шукшина на такое не способен. Для него и царь, и бояре одним миром мазаны.

А я уже вижу, как ты идешь под секиру. Горький, сильный, преданный. Вижу, как сморкается перед смертью... Давай!

А я своего Болотникова загнал пока в самый дальний сердечный закоул. Чувствую – не готов. Надо покой душевный и независимость, но того и другого пока нет. Если разбогатею – все брошу, начну Болотникова. Сделаю его – там и умирать легче.

Слушай, из чего хочешь делать сценарий? По Злобину, что ли? Или сам, все свое? Наплюнь на всех, ото всего отрекись. Сделай всё своё, сам ставь, сам играй. Да.

Если бы я стал делать что-нибудь в этом смысле, я бы наострил уши вот на что:

1. До того велика Русь, что мы ничего не думаем, ничего не жалко.
2. Для русского человека нет ничего тошнее чинного порядка, регламентации, т.е. ему воля нужна. Это теперь-то нас приучили ходить колоннами, поставили по ранжиру, и все, что не подходит под их мерку, называли анархизмом.

Дальше. Не клонь на приманку национальной экзотики – это опасная для художника штука. Ведь национальное надо пахать из нутра, а не заниматься чесоткой.

Все мы изголодались по родному, по русскому (вон Салтыков в «Лес ...» вопит). Но одних церквей, икон и ... мало, надо что-то большее.

Извини за менторство. <...>

Ради бога, не бесись, не мяться в московской сутолоке, силы поберегай.

Когда настроение будет, черкни.

Твой Белов».

Письмо было написано 20 октября 1965 года, то есть тогда, когда Шукшин только собирался «запустить» свой замысел о Разине в жизнь и делился сокровенными планами с другом Беловичем, и здесь хорошо чувствуется молодой, мятежный Василий Иванович, который в другом письме того же времени писал Шукшину: «Что в Москве занятого? По всем признакам, все гайки опять затянуты до предела. В Архангельске у меня, например, зарубили книжку, – говорят, пессимизму много. А какой там, к бесу, пессимизм!» Это потом, годы спустя, когда не будет в живых ни Шукшина, ни советского строя, против которого его друг, по пронизательному суждению Баскакова, метил свою картину, Белов будет готов признать правду сколь угодно тошного порядка и покается в том, что во время оно тоже приложил руку к его разрушению, именно потому, что своими глазами увидит, к чему бунт против порядка, пусть даже в весьма своеобразной форме, в 90-е годы приведет, и автор «Привычного дела» примется

яростно нападать на разрушителей государства, попутно окончательно добивших милую его сердцу деревенскую Русь.

Покаялся бы точно так же Шукшин, что сказал бы, доживи до 90-х, бог весть, – все же складывается впечатление, что Василия Ивановича не поддержал бы, но в 60-е, когда советская власть казалась глыбой и двое коммунистов лишь в северном лесу могли, не опасаясь ничего, из-под этих глыб говорить про Андропова и ГУЛАГ, у Белова и у самого был в планах крестьянский вождь – пусть не такой безудержный, как Разин, – Иван Исаевич Болотников, однако ж все равно бунтарь, и здесь выстраивается русский ряд: Есенин с Пугачевым, Шукшин с Разиным, Белов с Болотниковым, Николай Рубцов с его «Не порвать мне житейские цепи, Не умчаться, глазами горя, В пугачевские вольные степи, где гуляла душа бунтаря...» Все это были явления одного порядка, плоды одного национального поля, русского духа, который учуяла бы даже самая молодая и неопытная Баба-Яга...²

Однако Василий Шукшин оказался радикальнее прочих «заединщиков». И своим сценарием, и будущим романом, и неснятым фильмом он предъявлял высший счет и бросал вызов не просто либералам, интеллигентам, горожанам, гуманистам, шестидесятникам, космополитам и демократам, смущенным обилием пыток, крови, казней и трупов – нет, он сознательно выступал против двух важнейших институтов русского мира – против государства и против церкви, причем делал это в открытой, жесткой форме, прямо называя вещи своими именами.

«Видел Степан, но как-то неясно: выросла на русской земле некая большая темная сила – это притом не Иван Прозоровский, не Семен Львов, не старик митрополит – это как-то не они, а нечто более зловещее, не царь даже, не его стрельцы – они люди, людей ли бояться?.. Но когда днем Степан заглядывал в лица новгородским, псковским мужикам, он видел в глазах их тусклый отблеск страшной беды. Оттуда, откуда они бежали, черной тенью во все небо напознала всеобщая беда. Что это за сила такая, могучая, злая, мужики и сами тоже не могли понять. Говорили, что очутились в долгах неоплатных, в кабале... Но это понять можно. Сила же та оставалась неясной, огромной, неотвратимой, а что она такое? – не могли понять. И это разжигало Степана, томило, приводило в ярость. Короче всего его ярость влагалась в слово – “бояре”. Но когда сам же он хотел вдуматься – бояре ли? – понимал: тут как-то не совсем и бояре. Никакого отдельного боярина он не ненавидел той последней искупительной ненавистью, даже

² Ср. также рубцовские строки: «Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны, Но жаль мне, но жаль мне порушенных белых церквей».

Долгорукого, который брата повесил, даже его, какой ненавидел ту гибельную силу, которая маячила с Руси. Боярина Долгорукого он зашиб бы при случае, но от этого не пришел бы покой, нет. Пока есть там эта сила, тут покоя не будет, это Степан понимал сердцем. Он говорил – “бояре”, и его понимали, и хватит. Хватит и этого. Они, собаки, во многом и многом виноваты: стыд потеряли, свирепеют от жадности... Но не они та сила. Та сила, которую мужики не могли осознать и назвать словом, называлась – ГОСУДАРСТВО».

3.

Таких друзей, как Белов, в кинематографической среде у Шукшина и вправду не было. Не было и в литературной. Была масса приятелей, знакомых, коллег, однокурсников, попутчиков, земляков, многие из которых оставили более или менее точные воспоминания о нем, но Ростоцкий был, несомненно, прав, когда писал Василию Шукшину о его одиночестве.

Можно сказать так: Шукшин мог доверять, сходиться, сердечно дружить с земляками и друзьями детства, с родней, с флотским товарищем Василием Ермиловым и выслушивать хмельные поучения старшего по званию и партийному стажу товарища, о чем очень трогательно написал Заболоцкий, но едва ли все эти люди были способны во всей полноте и глубине, а главное в профессиональном отношении, Шукшина до конца понять и почувствовать. Что же касается профессионалов – собратьев по перу или по режиссерскому делу, то здесь между Василием Макаровичем и его коллегами пролегла пропасть, которую невозможно засыпать или сделать вид, что не так уж она глубока. Шукшин, по справедливому выражению Валерия Фомина, был перпендикулярен к кинематографической среде, но ведь и литературной не был параллелен, ни тем более в нее встроен. Там его тоже своим мало кто считал. Для «Москвы», «Молодой гвардии», «Октября» – новомирец, да к тому же ловкий перебежчик, для «Нового мира» – чужой, слишком экзотический, сибирский, нутрянной. Для либералов в лучшем случае, по суждению Василия Аксенова, «хороший писатель, но темный человек». Для сибиряков – москвич, известно воспоминание о том, как однажды Шукшин, очутившись без денег в Барнауле, зашел домой к руководителю местной писательской организации и тот велел передать через свою жену, что не знает такого писателя. И потому Василий Иванович Белов оказался в этом смысле явлением уникальным. Он был соразмерен Шукшину по масштабу литературного таланта и по творческой силе, их роднила не только общность судьбы и мировоззрения, но и искренняя забота друг о друге, редкая русская солидарность, и еще одним свидетельством этой великой, какой-то мифологической, мужской дружбы,

каковая не часто и в литературной среде встречается и которая, может быть, и помогла Шукшину продлить дни его жизни, служит переписка двух Василиев в очень драматическое для Шукшина время – весной 1971 года, то есть как раз вскоре после закрытия «Разина».

«Тезка! – обращался Шукшин к Белову. – Сел писать тебе и вспомнил, как я тебе писал всегда – все что-то нехорошо, на душе нехорошо, и все я вроде жалуюсь, что ли. Не знаю, за что я расплачиваюсь, но – постоянный гной в сердце. Я тебя очень серьезно спрашиваю: а у тебя только тело болит или душа тоже? Потому спрашиваю, что судьба твоя такая же – и, может, тут какой-то общий, грустный закон? Тело болит – это от водки, я знаю. Но вот я и не пью, а весь измаялся, нигде покоя – ни дома, в деревне, ни тут. Все перебрал и вспомнил пору, когда было 20 лет, – не ныла же она так! Что же теперь-то? Я никому не говорю об этом, никому до этого нет дела, а скажешь, так не поверят. Да, вообще, кому это нужно? Еще поймут, что – ослаб, лягать кинутся. Вот... Кричу тебе в Вологду. Вообще-то, это похоже на то, как болит совесть: постоянно и ровно. Есть у тебя такое? Скажи правду – охота докопаться до корня <...> “Разина” закрыли» <...> Но все же душа не потому ноет. Нет. Это я все понимаю. Есть что-то, что я не понимаю. Что-то больше и хуже. Жду письма или самого».

«Письмо написано красными, словно кровь, чернилами <...> Не помню, как я ему ответил, но его душевная боль имела то же происхождение, что и моя», – писал в мемуарах Василий Белов, чей ответ был несколько лет назад опубликован и достоин того, чтобы процитировать беловские строки максимально полно, и особенно важно оно в сравнении с письмом Ростюцкого, которое тоже претендовало быть дружеским, но именно здесь разница между дружбой подлинной и ее видимостью налицо:

«Василей, Василей, ты это брось. Я не про то, что жалуешься мне (это не жалобы, да и хороши мы будем, ежели не станем говорить друг другу главное) – я про твое состояние.

Наверно, я приеду числа 29-го. Но про то, что спрашиваешь, лучше напишу неспешно. Говорить мы не умеем и стесняемся.

Так вот – брось. Проснись однажды со свежим сердцем и хватит. Пишу тебе честно: постоянной и ровной боли у меня нет. Бывает с похмелья, когда нагресишь (в прямом смысле) либо наговоришь кому-то чего-то или еще что (это я называю духовным стриптизом). А так – нет пока, тьфу, тьфу!

Чего ты маешься – не знаю. Вот мои предположения. Очень часто бывает так: душа болит, потому что тело болит. Не смейся, поверь. Побереги, наладь, подрегулируй, подлечи свою машину, то есть тело. Такими, как в двадцать лет были, уже не бывать, но кое-что сделать можно и надо. За-

крепиться надолго на том, что еще есть, чего мы еще не растрясли направо и налево, то есть здоровье. Без присмотра за “машинами” нам теперь нельзя, усеки и запомни это. Я был, раз пять, близок к этому обрыву, к этой черте, за которой тьма, ничто, пустое место. К смерти, иначе. Потом пятился от этого обрыва, отползал, а как иначе? Поскольку нас родили — не жить не имеем права. А тут уж изволь за машиной приглядывать и беречь ее, без нее нас как не бывало...

А если и с машиной более или менее все ладно, а совесть, душа все равно болит — значит, для чего-то не так живем, не то немножечко делаем или уже наделали. Я иногда просыпаюсь ночью от стыда и краснею: во сне вспомнилась забытая, но сделанная когда-то подлость. Утешаюсь тем, что больше так не сделаю. И тем, что ежели совесть болит, значит, она еще есть в тебе, не вытравили. Может, ты маешься тем, что сделал для денег? Тогда сократи бюджет и больше не делай ничего по чужим сценариям. А то, что уже сделано, — забудь, отсеки и не вспоминай.

Вишь, я какой ментор. А вообще, знаешь что: ничему не отдавайся до конца, до последней кровинки. К черту максимализм, это он губит. Меня писателем называют, а я чихал! Я, может, никакой не писатель и быть им не хочу. Почему я должен быть писателем, я не обязан. И никому ничего не должен. Я и руками себя прокормлю, захочу — и буду столярничать. Либо на завод монтером. Может, я дрова колоть больше люблю, чем сочинять все эти штучки. Я, конечно, знаю, что на завод не пойду. Но мне нужно знать и то, что не обязан я, что в любой момент я могу бросить к чертям собачьим всю эту литературу и искусство. Вот когда так подумаю — сразу дышать легче, сразу гора с плеч, сразу свобода и легкость. Как раз та свобода, без которой ничего стоящего не сочинишь

Попробуй-ка скинуть с себя все обязанности, которые навьючила на тебя судьба, весь груз, кроме семейных, моральный гнет, все эти штучки-дрючки. И сразу почувствуешь себя человеком. И сделаешь больше, чем все эти подвижники, герои и борцы за свободу и справедливость <...> Не будь змием. Вылезай изредка из прежней шкуры и живи заново. Вот только как быть с деньгами... Ты тут такой тон задал...»

Все-таки не зря Шукшин предлагал сыграть Белову в своем гибельном фильме: именно так мудро, опытно поучал своевольного, мятущегося, терзающегося угрызениями совести казака Степана Разина крестьянин Матвей Иванов. Был его исповедником, духовником, лекарем. В беловском письме за три года до смерти Шукшину был поставлен диагноз. Белов знал Василия Макаровича так, как не знал его никто. И любил, пожалуй, так же бескорыстно, как это не было дано никому из шукшинских знакомых. Другое дело, что не мог один Василей другого Василья послушать. Не мог оста-

вить киношку, как тот советовал, не мог, бросив пить, бросить еще и кофе и сигареты, не мог перестать зарабатывать деньги – как тогда в глаза смотреть стольким людям, от него зависевшим? Мать, жена, сестра с ее детьми, свои три дочери... Да и приятели, просившие деньги взаймы... Но дело не только в этом. Дело в натуре, в родовом замесе этого человека. Не мог Василий Шукшин, как советовал Василий Иванович, послать к черту максимализм, не мог не отдаваться своему делу до последней кровинки.

4.

В шукшинском письме к Белову есть одна важная фраза: «В “Новом мире” больше не берут печатать, взял оттуда свои рассказы».

Василий Шукшин был не единственным писателем, кто покинул журнал, где произошла смена главного редактора, означавшая конец целой эпохи не только в истории литературы, но и в истории страны, однако в процитированных строках чрезвычайно важен словесный оборот: *не берут печатать*. Получается так: не Шукшин ушел из журнала в знак протеста против снятия Твардовского, как многие новомирские авторы (а кто-то не сделал, как Василь Быков, например, и потом раскаивался), но его ушли. Причем не очень понятно: за что? Новый редактор «Нового мира» Косолапов, которому трудно было позавидовать в этой роли, должен был за таких авторов, как Василий Шукшин, держаться, и тем не менее от Шукшина новый «Новый мир» по не очень понятным причинам отказался, и нашему герою пришлось искать другую крышу над головой. Он ее без труда нашел, но вот вопрос, жалел ли Василий Шукшин о гибели журнала Твардовского, переживал ли события вокруг журнала в конце 60-х, когда нашее «Нового мира» затягивалась петля? Что думал он об атаке «Огонька» на «Новый мир» летом 1969 года, известной как «письмо одиннадцати» и ставшей предвестником этого погрома?³

³ Ср. также в рабочих тетрадях А.Т. Твардовского: «Ну, подлинно: такого еще не бывало – по глупости, наглости, лжи и т.п. Едва ли не все подписавшие этот антиновомировский, открыто фашиствующий манифест мужиковствующих, “паспортизованы” на страницах “Нового мира”, вернее сказать, аттестованы отдельно посвященными каждому рецензиями или, по крайней мере, “попутными” характеристиками, начиная с Мих. Алексева (вкупе с В. Шишовым!) и кончая дремучим, облекшим свою закаленную в органах юность во всякие “ой, дидо, ладо, Ладога” Прокофьевым. Но суть не в том, даже не в том, что самих генералов им не удалось подвинуть на подписи – ни Шолохова, ни Леонова, ни Федина (нужды нет, что он член редколлегии, была бы охота!). А в том, что это самый, пожалуй, высокий взлет, гребень волны реакции в лице литподонков. которые пользуются очевидным покровительством некоей части “имеющегося мнения”».

В воспоминаниях Анатолия Заболоцкого говорится о том, что во время поездки Шукшина и Белова в Тимонику зимой 1971/72 года кинооператор стал «невольным свидетелем разговоров сплошь о литературе. Говорили о Яшине, Абрамове, Твардовском и его журнале».

Что именно говорили, Анатолий Дмитриевич, к сожалению, не записал, но не так давно в газете «Литературная Россия» было опубликовано письмо Василия Белова к литературоведу Виктору Петелину, где речь шла о реакции Белова на «письмо одиннадцати»: «Я бы это письмо не подписал. Не потому, что не согласен с мыслями против дементьевской статьи (с этими мыслями я согласен), а потому что, объективно, письмо против Твардовского <...> Я не берусь судить за всех, но, как мне кажется, Витя Астафьев и Саша Романов тоже не поставили бы свои подписи против Твардовского, да еще теперь, когда его гонят из журнала. Все это очень сложные и хитрые штуки. А меня теперь Михайлов объявил вне закона, не знаю, что и делать. Не переиздают, не печатают. И правые и левые смыкаются против меня и Астафьева, хотя одни шумят за Россию, а другие шумят против лжепатриотов (Дементьев, к примеру). Те и другие стоят друг дружки».

Это не означает, что Шукшин думал так же, но вряд ли его всегда независимая, внепартийная позиция сильно отличалась от беловской, особенно если учесть, что «письмо одиннадцати» было опубликовано в софроновском «Огоньке», а именно фамилия Софронов стала, по воспоминаниям Белова, одним из аргументов для Шукшина, чтобы удочерить Катю, свою дочь от Виктории Софроновой.

5.

И все же самый горький из последних литературных сюжетов в жизни Василия Макаровича был связан с рассказом «Кляуза», опубликованным одновременно в журнале «Аврора» и в «Литературной газете». Рассказ этот, с одной стороны, перекликающийся с чуть более ранним по времени написания «Ванькой Тепляшиным», герой которого также уходит из больницы из-за хамства красноглазого вахтера, а с другой стороны, совершенно новый, с указанием точного времени и места действия и перечислением действующих лиц, известен больше всего своим окончанием, вопросом «Что с нами происходит?», который прозвучал на всю страну как колокольный звон, как призыв, как пароходный или фабричный гудок, как сирена, горн, и был услышан повсюду вплоть до кремлевского дворца, что впоследствии обеспечило автору место на Новодевичьем кладбище и стало шукшинским завещанием. Это был рассказ, вызвавший очень неоднозначную реакцию не только у администрации больницы, которая встала на за-

щиту своей сотрудницы и в дальнейшем не позволила ее уволить, и не только у Евгения Евтушенко, который, как мы помним, был возмущен шукшинской «Кляузой», поскольку писатель-де обрушился на нищую больничную вахтершу – еще одним оппонентом Шукшина стал его тезка Василий Белов, которому, видимо, по этой причине отказал в праве считаться другом Шукшина Анатолий Заболоцкий: «Для Шукшина понятие “дружба” было преувеличением даже для его отношений с Василием Ивановичем Беловым».

В мемуарах Белов описывал свою размолвку с Шукшиным следующим образом: «...я тоже был обижен публикацией “Кляузы”. За нее уцепились наши общие недруги. Насколько мне известно, Макарыч просил жену показать “Кляузу” Белову и, если тот возражать не станет, отдать ее в печать. Лида же не показала мне рукопись, поспешила напечатать, сказалось вечное женское стремление к благополучию деток. В своем письме к Шукшину я, вероятно, попенял Лидии Николаевне за “Кляузу”, так как Макарыч пишет: “Лида прочитала по телефону твое письмо... Вася, это не будет все, это про то, как один лакей разом, с ходу уделал 3-х русских писателей. Это же славно! Не мы же выдумали такой порядок. Чего тут стыдно-го? Ничего, ничего – я чувствую здесь неожиданную (для литературы) правду... Клейма на такую форму рассказов у них еще нет, в эту-то прореху и сунуть. Толя едет к тебе в деревню... Отступаете? Ну, отдышитесь. Напиши за неделю ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ рассказ: так мне стали нравиться документальные рассказы. Ну, душой буду с вами, а телом в Кунцевской больнице. Вот же хворь – это стало уже угнетать: я же так ни черта не делаю! Так охота работать!»

Виноватой, таким образом, оказалась Лидия Николаевна, что никак не вяжется с фактами, поскольку рассказ «Кляуза» был опубликован в журнале «Аврора» в августе, а в «Литгазете» в сентябре 1974 года (да и причем тут деньги, не очень понятно – вряд ли гонорар был так уж велик, тут проглядывается чисто писательская психология Белова, зависящего всецело от литературных заработков), а возмущенное и одновременно заботливое письмо Белов написал Шукшину за полгода до этого, в феврале, когда Василий Макарович лежал в кремлевской больнице:

«Макарович!

Надо бы тебя хорошенько попарить. В моей деревенской бане. За то, что все употребил мое имя. Еловым венником. Но поскольку ты попал в такую больницу, Тимониха должна уступить. Пожалуйста, лечись, как следует, не торопясь, долго и понадежней», – фактически прощал он тезку, и тут не очень понятно: то ли Шукшин посылал ему текст заранее (а рассказ был написан им в конце декабря 1973 года), то ли что-то говорил о замыс-

ле, но в любом случае процитированное Беловым в мемуарах шукшинское письмо было как раз ответом на эти строки – еще раз повторим – задолго до публикации рассказа.

Больше того, самостоятельное решение Шукшина опубликовать «Кляuzu», несмотря на возможные возражения Белова, подтверждается письмом Василия Макаровича к главному редактору «Авроры» Глебу Горышину в марте 1974 года:

«Что касается Васи Белова, то... Я, правда, его не видел (я лежу в больнице, в другой уже, за городом), но просил жену рассказать ему, в чем дело (он приезжал на пару дней), он сказал, что “это ему (мне, в смысле) виднее, – на его совести”. Моя совесть чиста – там все правда. Да и мы ли выдумали порядок, в котором, соблюдая его, выглядишь идиотом? Чего тут стыдиться-то? Ничего, Глеб. Если один лакей может уделать с ходу 3-х русских писателей – разве это так уж плохо? В этом есть смысл. Прошу тебя, откликнись, как получишь это! В любом случае».

Ответное письмо Глеба Горышина, к сожалению, неизвестно, но тот факт, что «Кляuzu» он опубликовал, говорит сам за себя, однако больничный сюжет в судьбе двух Василиев имел драматическое продолжение в ту последнюю шукшинскую зиму, переходящую в добрую и бестолковую, как незрелая девка, весну.

Случилось так, что в феврале 1974 года у Белова тяжело заболела годовалая дочь Аня.

«Видел бы ты нашу детскую больницу! – писал Белов Шукшину из Вологды через несколько дней после отлупа еловым веником за «Кляuzu». – Это кошмар. Тесно, грязно. Эти маленькие страдалцы уже и не протестуют, они сдались. (Анюта моя не сдавалась до конца, хватала сестер за волосы. А когда ей зажимали ручонки, билась головой. Это во время уколов в голову-то...) Теперь дома. Ей всего четырнадцать месяцев, но у нее уже что-то исчезло детское. Появилось что-то новое. Как звереныш была первые два дня дома. Теперь понемногу приходит в себя, но я боюсь: уже что-то потеряно. Святое и необходимое. Бог знает что творится! Такие дела <...> Посылаю снимок – это до болезни (сейчас худая и стриженная моя дочка)».

Каково было Шукшину с его страхом за детей это читать. И вот его ответ:

«Спасибо за письмо и за фотографию. Славный человечек там, сколько любопытства в двух “омутах” (из твоего арсенала)! Разве она может стать другой. Слава Богу, что все теперь хорошо. Вишь, какие якоря в жизни кинуты! Надо и свое здоровьишко побережь. Давай, как встретимся, поклянемся на иконе из твоего дома: я брошу курить, а ты вино пить. С куревом

у меня худо: ноги стали болеть – это, говорят умные доктора, на пять лет. А там – отпиливать по одной. А ты бросай вовсе другую заразу – тоже жить можно, даже лучше – это у я из собственного опыта говорю». И чуть дальше: «Вот штука-то: две больницы в одной стране... Эх, сколько мы не знаем, Васюха! И это еще – не край, есть и другое, и много. Переезжай в Москву! Решись».

И в следующем письме: «Не падай духом, не падай духом, Вася, это много, это все. Много не сделаем, но СВОЕ – сделаем, тут тоже природа (или кто-то) должны помочь. И – немного – мы сами себе, и друг другу».

Переехать в Москву Белов так и не решился, но если это не дружба, то что тогда этим словом называется?

Ю.В. Розанов
ВоГУ, г. Вологда

**ПОВЕСТЬ В.И. БЕЛОВА «ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО»
В ЗЕРКАЛЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ
1966 – НАЧАЛА 1967 ГОДА***

Соратник В.И. Белова по «деревенскому направлению» в советской литературе Ф.А. Абрамов, выражая некую общую точку зрения, писал: «“Привычное дело” приняли все: и “либералы”, и “консерваторы”, и “лирики”, и “физики”, и даже те, кто терпеть не мог деревню ни в литературе, ни в жизни» [1, с. 92]. Изучение литературно-критических материалов, появившихся в первый год после публикации повести, мемуаров и писем непосредственных участников литературной жизни 1960-х годов свидетельствует о том, что такой однозначный и благостный взгляд нуждается в корректировке.

Известно, что в 1965 году Белов предполагал печатать свою новую повесть в Москве – в журнале «Новый мир» А.Т. Твардовского и в издательстве «Советский писатель». Такой «завыщенный» план свидетельствует не столько об амбициях начинающего писателя из провинции, сколько о понимании того, какая сильная и своевременная вещь ему удалась. Расчет Белова был понятен и обоснован. «Новый мир» в те годы имел репутацию смелого издания. После такой авторитетной журнальной публикации «Советский писатель» мог издавать все что угодно. Однако этот план не осуществился. Твардовский, по словам Ф.Ф. Кузнецова, «побоялся печатать»

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-04-00364 «Вологодский текст в русской словесности»).